

*Этот номер мы посвящаем  
памяти А.Я. Гуревича  
и публикуем здесь  
его последние работы\**

*А.Я. Гуревич*

ДИАЛОГ СОВРЕМЕННОСТИ С ПРОШЛЫМ<sup>1</sup>.  
«КАТЕГОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ»  
35 ЛЕТ СПУСТЯ

Писать о судьбе книги, созданной несколько десятилетий тому назад, – дело не простое. На расстоянии иначе, чем прежде, воспринимаются пропорции и значимость происшедшего. Невольно вспоминаются многие действия и противодействия – как внутреннего, так и внешнего свойства – и прежде всего та историографическая ситуация, в которой оказалось возможным создание книги. Всякая история имеет собственную предысторию, и было бы неверно не иметь эту предысторию в виду. Но и у предыстории были, разумеется, свои особые предпосылки, и их, в свою очередь, кажется невозможным игнорировать, так что в итоге вырисовываются контуры дурной бесконечности и, подчинись ей автор, он рискует никогда не дойти до сути дела.

Во всяком случае, я просил бы итальянского читателя второго издания «Категорий средневековой культуры» принять в расчет, что книга эта была задумана, написана и в конце концов издана в несколько особой обстановке, надеюсь, мало схожей с тою, в какой творят итальянские историки.

Да простят меня читатели, если в нижеследующем тексте будет то и дело возникать местоимение «Я». «Книги имеют свою судьбу», но разве эту судьбу не разделяют и их авторы? В настоящем случае приходится не забывать о теснейшей связи между судьбой автора и судьбой книги, иначе многое и немаловажное осталось бы непонятым.

Действительно, как не упомянуть тот факт, что пришедший на исторический факультет Московского государственного универси-

---

\* Издание настоящего выпуска «Одиссея» осуществлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 050101514.

<sup>1</sup> Этот текст был написан А.Я. Гуревичем для второго издания его книги «Категории средневековой культуры» на итальянском языке. Поскольку же автор высказывает здесь некоторые общие соображения, касающиеся специфики работы историка-медиевиста, мысль коего неизбежно движется между двумя пластами времени, то редакция сочла возможной публикацию этих заметок в виде отдельной статьи.

тета студент-заочник, принужденный сочетать занятия историей с работой на военном заводе, еще не имел никакой профессиональной исторической подготовки? Готовясь к сдаче зачетов и экзаменов по разным дисциплинам, я, как правило, был мало способен отличить ценную монографию, или учебник, или статью от сочинения посредственного. Когда в 1945 г. я стал, наконец, полноправным студентом и сосредоточился на изучении социально-экономической истории западного Средневековья, я, естественно, по-прежнему довольно долго оставался в зависимости от авторитетов – профессоров и авторов книг и учебников.

Сороковые годы – первые годы после войны и, как оказалось, последние годы сталинского режима. Надеюсь, итальянский читатель обладает хотя бы самыми общими представлениями об этом режиме. Я не намерен этот режим живописать и ограничусь лишь одной констатацией: ожидание свободы и возрождения немедленно после Дня Победы, которое теплилось в сознании всех мыслящих людей, катастрофически быстро было отнесено мыслью о подлоге и окончательном перерождении того, что по привычке мы именовали социализмом и демократией. Сталинский режим украл плоды победы, воспользовавшись ею для нового укрепления тирании и несправия. Делая все поправки на юный возраст студентов второй половины 40-х – начала 50-х годов, я берусь утверждать: мы были загнаны в подполье. На общих открытых собраниях, митингах и демонстрациях по-прежнему царили лживое единомыслие и пустозвонство, но стоило студенческой массе рассыпаться до элементарных человеческих ячеек, как робко или более откровенно раздавались голоса юношей и девушек, решительно расходившиеся с официальными идеологией и фразеологией.

Я отнюдь не склонен утверждать, будто голос критики и недовольства громко и повсеместно звучал. Но общая атмосфера так или иначе была проникнута противостоянием официального режима и человеческой личности, которая, несмотря на непрестанную идеологическую и полицейскую обработку на протяжении предшествующих десятилетий, все еще не была способна смириться перед сталинским произволом.

Но почему, собственно, я начал ожидаемый от меня отчет о генезисе и судьбе «Категорий средневековой культуры», книги, опубликованной в 1972 г., с упоминания сталинизма 40–50-х годов? Как человек, чье возмужание началось именно в те годы, как человек, живое свидетельство которого еще может прозвучать полстолетия спустя, я утверждаю: здесь налицо несомненная глубинная связь.

Упомяну хотя бы то, что до того, как я сосредоточился в своей студенческой работе на истории западного Средневековья, я неко-

торое время был втайне одержим намерением погрузиться в изучение стенографических отчетов партийных съездов и конгрессов Коминтерна с тем, чтобы, сопоставляя эти материалы с идеями, которые развивали Ленин и его сподвижники досталинской поры, попытаться установить правду о глубочайшем перерождении коммунистической партии в орган антидемократической и антисоциалистической диктатуры. Разумеется, попытка незрелая и смехотворная, ибо перерождение это происходило не на страницах стенограмм съездов, пленумов и конгрессов, а ежедневно во всей толще нашей советской жизни.

Я упомянул об этом биографическом курьезе с тем, чтобы читатель лучше мог представить себе умонастроение студента, обосновавшегося наконец на кафедре истории западноевропейского Средневековья. Таков был *background* моих занятий под руководством виднейших московских профессоров-медиевистов. Обсуждение острых вопросов жизни не могло входить в круг наших бесед, ибо страх, воспитанный в сознании людей старшего поколения, не был чужд и молодым.

Научная атмосфера среди историков еще более осложнялась безраздельным и агрессивным господством одной-единственной допустимой тогда идеологии и методологии. Все движения мысли и научные построения, которые, на взгляд идеологических надзирателей, отклонялись от советской версии марксизма, были под запретом. Марксизма было в упомянутой версии не так много, и впоследствии мне многократно доводилось убеждаться в том, что мои критики, обвинявшие меня в антимарксизме и ревизионизме, сами Маркса не читали. Во-первых, идеи этого великого мыслителя были не по зубам догматикам, а во-вторых, начиная по меньшей мере с 30-х годов в Советском Союзе была разработана «философия», лишь прикрывавшаяся именем марксизма, но по сути своей чуждая и враждебная ему.

Для полноты картины я вынужден упомянуть, что на протяжении нескольких десятилетий советская историческая наука была начисто отрезана от науки мировой. По сути дела не было прямых контактов между учеными из СССР и из стран остального мира. Труды зарубежных ученых по истории, социологии, философии не переводились на русский язык. Мало того, новые зарубежные исследования в той ограниченной мере, в какой они все же поступали в главные советские библиотеки, подвергались своего рода аресту: после просмотра невежественными «экспертами» эти работы оказывались на полках «спецхрана» – того отдела библиотеки, доступ в который читателю, как правило, был воспрещен или ограничен.

Историки, подобно другим гуманитариям (впрочем, не относится ли это также и к естественникам?), «варились в собственном соку». Догматизированные, а отчасти и терроризированные ученые, преподаватели не могли свободно и щедро делиться своими знаниями с молодежью. Умолчание, полуправда, боязнь доноса или критических нападок, грозивших привести к увольнению, шельмованию и даже аресту, – все это были неотъемлемые черты работы университетских и научных учреждений.

Выпускники московского и других советских университетов в ту пору, да и много позже, получали искаженные знания и об истории, и о современности, и им в ходе дальнейшей их работы либо приходилось из простого самосохранения придерживаться внушенной им догмы, либо вольно или невольно вовлекаться в противостояние с нею.

Но – довольно о том печальном времени! Тем не менее, прошлое все еще должно остаться в центре моего повествования. Смерть Сталина и XX съезд Коммунистической партии обнаружили духовную нищету советской системы, и молодые гуманитарии поспешили воспользоваться новыми открывшимися возможностями. Идеологический контроль оставался в силе, но обнаружилась низкая эффективность его. Стихийно возникали теоретические семинары, устраивались дискуссии, в ходе которых особое внимание уделялось вопросу: как очистить живой марксизм от мертвечины сталинской догматики? Распространенная иллюзия тех лет – панацеей от всех бед служит «новое», «более углубленное» освоение теоретического наследия Маркса и Ленина. Я с самого начала был убежден в том, что посредством «нового прочтения» марксизма-ленинизма невозможно достигнуть подлинного возрождения науки. Задача, которую нам предстояло решать, заключалась, прежде всего, в том, чтобы преодолеть давно сложившуюся замкнутость марксизма и обратиться, наконец, к освоению тех богатств, которые были созданы мировой философской и исторической мыслью в те годы, когда мы эту мысль игнорировали, отвергали и в отдельных случаях обкрадывали. Короче говоря, нам предстояло учиться, а для этого необходимо было избавиться от догм и сектантской замкнутости, которые неизбежно сопровождали нашу науку в десятилетия изоляционизма и неизменной враждебности ко всему, созданному «не у нас».

Нам предстояло присмотреться ко многим философским направлениям XX века, освоить новые принципы научного и теоретического анализа, а для всего этого требовалось избавиться от псевдонаучного высокомерия и интеллектуального изоляционизма и научиться вести диалог с представителями иных мировоззрений.

\* \* \*

До сих пор я ничего не говорил о своих научных занятиях, об особой проблематике, присущей медиевисту. Воспитанник московской школы историков-аграрников, я посвятил свои первые работы социально-экономической истории раннесредневековой Англии, а затем и аналогичной проблематике истории Скандинавских стран, прежде всего Норвегии и Исландии. Поначалу я оставался более или менее в русле вскормившей меня аграрной школы, но затем со мною произошло нечто, побудившее меня изменить мои взгляды на историю. Моя попытка решать на материале английских и скандинавских исторических источников те самые задачи, какие были внушены мне нашей историографией (природа земельной собственности, платежи и повинности зависимых крестьян, формы и степени их зависимости, их сопротивление эксплуатации), в конечном итоге потерпела фиаско. На кое-какие из упомянутых вопросов мои источники могли дать ответ, но уже вскоре я убедился в том, что источники эти содержат в себе огромный материал совершенно иного рода. Однако извлечь эти данные из исторических памятников, задавая им традиционные вопросы, оказалось совершенно невозможно. Нужна была принципиально иная анкета, необходимо было послать в далекое прошлое совсем иные вопросы. Ибо рано или поздно я не мог не почувствовать, что тексты, которые я изучал, содержат в себе огромную информацию и вся загвоздка заключается в том, чтобы правильно их спросить.

Чтение исландских саг, скальдических и эддических песней, норвежских судебных привело меня в конце концов к убеждению, что нужно только найти верный ключ для расшифровки посланий, отправленных людьми раннего Средневековья. Создалась парадоксальная ситуация: историк вопрошает людей IX–XIII веков о видах ренты и формах крестьянской зависимости... Источники же, с которыми он пытается работать, готовы поведать ему о жизни и смерти человека той эпохи, о восприятии им хода времени, короче говоря, – о мирозерцании этих людей, о видении ими мира и о нормах поведения, которые были продиктованы этим мирозерцанием. По сути дела перед взором историка приоткрывались тайны внутреннего мира людей, живших столетия назад.

Вместе с тем я убедился, что одновременно со мною, но на материале иных источников, относящихся к другим регионам и культурам, работает ряд исследователей, которых, в свою очередь, занимает проблема видения мира человеком далекого прошлого. Я пришел к убеждению, что здесь, на этом пути вырабатываются новые подходы к изучению истории. В центре внимания исследователя оказыва-

ются уже не «базисные» и «надстроечные» элементы общества, но человек. Он не утрачивает своей социальной, хозяйственной или религиозной специфики, но и не поглощается теми или иными сословными разрядами. Он ориентируется в мире и воспринимает его, руководствуясь присущими его культуре ценностями. Будучи далеким от того, чтобы всего лишь являть собой представителя некоей поглощающей его социальной категории, он выражает собственное миропонимание.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», гласит русская поговорка. Период, на который пришлось мой все углубляющийся разрыв с традиционной социально-экономической проблематикой и выработка предполагаемой новой гипотезы с ее новыми вопросами, занял годы. То было весьма драматичное время. Переориентация исследования на новые источники потребовала немалых усилий. Пожалуй, еще более мучительными были поиск и формулировка новых исследовательских задач. На передний план в качестве вопросов, ожидавших своего решения, выдвинулись такие вопросы, которые до той поры, как правило, были чужды сознанию историков. При этом выдвижение одного из таких вопросов неизбежно влекло за собой целую серию других. Речь явно шла не о каких-либо разрозненных штудиях, но о радикальной прочистке общей картины, о разработке облика «иного Средневековья».

Именно это понятие «иной», «другой» сделалось одним из центральных в той «Новой исторической науке» (*la nouvelle histoire*), которая на рубеже 50–60-х годов начинала захватывать позиции во Франции и распространять свое плодотворное новаторское влияние в науке других стран Запада. Период моей внутренней методологической и научной перестройки счастливо совпал с периодом активного освоения новых рубежей историками Школы «Анналов». Таким образом, я не был ни одиночкой, ни тем более первооткрывателем. Сознание того, что в том же направлении работают медиевисты (а отчасти и «модернисты»), труды которых открывали небывало широкие перспективы, придавало мне новые силы. Но, не скрою, силы мне придавало и нечто иное.

Мои искания в новом, никем не апробированном направлении с самого начала встретили противодействие ряда моих московских коллег. Акцент на деятельности человеческого индивида, на анализе его самосознания, на его верованиях воспринимался этими застывшими в вульгаризованном марксизме профессорами в качестве попытки ревизовать «единственно верную» идеологию.

Когда мои размышления о природе средневекового общества достигли относительной зрелости, я позволил себе «эскападу», которая повлекла за собой, как вскоре же выяснилось, неожиданные послед-

ствия. Убедившись в том, что дискутировать с высокоучеными potentатами из МГУ и Академии наук бессмысленно, я написал учебное пособие, адресованное не этим господам, а молодежи – аспирантам и студентам, равно как и более широкому кругу интеллектуалов. На протяжении нескольких лет я имел немало случаев убедиться, сколь живой интерес к исторической проблематике существовал в разных отсеках общества и, в частности, у ученых по своим профессиональным интересам весьма далеких от гуманистики.

Когда книга под названием «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе» вышла в 1970 г. в свет, она, как я немедленно убедился, поразила многие умы. То был непривычный взгляд на историю. Совершенно естественно поэтому, что эта книга подверглась самым резким критическим нападкам со стороны людей, увидевших в ней антимарксизм, ревизионизм и т.д. В те годы официальное шельмование научного или художественного труда лишь способствовало привлечению внимания к нему, и мысль о том, что деятельность Гуревича может быть чревата всяческими зловердными -измами надолго внедрилась в сознание как партийного и научного начальства, так и многих моих коллег. Главное обвинение было сформулировано одним из руководителей московской партийной организации: «Гуревич думает». Вот в чем дело! Независимо мыслящие ученые, писатели и деятели культуры внушали подозрение именно потому, что были способны отойти от ортодоксии и замшелых стереотипов.

Своеобразие моего положения после 1970 г. состояло в том, что в издательстве «Искусство» уже была подготовлена к печати моя более обширная монография: «Категории средневековой культуры». Обе книги были написаны почти одновременно, во всяком случае, в них явно пульсировали «сообщающиеся сосуды». «Категории» создавались в обстановке обостренной борьбы между автором и его противниками, в атмосфере, в которой научные и чисто средневековые сюжеты переплетались со спорами по вопросам исторической гносеологии.

Внимательный читатель «Категорий» не мог не увидеть, что книга эта – не просто о фактах, пусть самых красочных, средневековой истории, и не о безграничном многообразии средневековой культуры, – она о другом. Автор попытался выявить коренные особенности этой культуры, а самая же культура эта понимается им не в виде серий художественных, ученых, религиозных или поэтических явлений, т.е. не как объект, рассматриваемый в плане эстетики, истории литературы, богословия. В центре внимания – феномен средневековой культуры как предмет историко-антропологического познания. Как люди Средневековья ощущали и пони-

мали свой мир, какими жизненными ориентирами они руководствовались? Как человек Средневековья осознавал самого себя? Был ли он не более чем безликой единицей в составе сословия, рода, общины или же представлял собой в определенном смысле индивидуальность, пусть вовсе не такую, какую выработала впоследствии культура Ренессанса. Короче говоря, речь шла о том, чтобы увидеть человека далекой эпохи не только «снаружи», но и, прежде всего, «изнутри».

В наши дни многие из ответов на подобные вопросы уже не кажутся загадочными, но 30–40 лет тому назад вопросов было несравненно больше, нежели сколько-нибудь убедительных ответов. В этом заключалась и большая гносеологическая трудность, и огромная интеллектуальная привлекательность историко-антропологического подхода, тогда лишь набиравшего силу.

\* \* \*

Здесь мне кажется уместным задуматься над тем, откуда собственно берутся вопросы, которые мы задаем своим источникам? Ответ кажется ясным – мы, историки, принадлежащие к современной культуре, задаем эти вопросы. По-видимому, эти вопросы волнуют нас, ибо в противном случае они бы и не возникли. Ситуация в историко-антропологическом исследовании такова: мы задаем источникам далекого прошлого, т.е. людям, которые их создали, интересующие нас вопросы. Подчеркну, **наши** вопросы. Но ожидаем мы от людей прошлого **их** ответов. И последние могут быть вполне неожиданными.

Некоторое время спустя после первой публикации «Категорий» я встретил в критическом очерке моего коллеги следующий упрек: сосредоточив свое внимание на категориях времени и пространства, социальной структуры и права, собственности, богатства и бедности, наконец, человеческой личности, Гуревич рассматривает такие общие категории, какие вовсе не специфичны для изучаемой им эпохи; ведь эти же категории можно было бы обсуждать на материале истории совсем иных эпох и народов. Вместо этого, продолжал мой оппонент, Гуревичу следовало бы сосредоточиться на специфических особенностях средневекового Запада. Сознвая серьезность этих упреков, я, тем не менее, не мог тогда и тем более не могу сейчас принять их на свой счет. Как мне думается, вся штука заключается в том, что, задав средневековым источникам столь общие вопросы универсальной применимости, я сконцентрировал свое внимание на таких аспектах времени-пространства, права, собственности и т.п., обнажение которых, как мне кажется, открывает возможность увидеть



более отчетливо особенности средневекового мировиденья, и именно его. Наиболее общие абстракции обретают свою оригинальность и неповторимость.

Но дело не только в этом. Опубликовав «Категории», я немедленно продолжил странствие по средневековому универсуму. Опираясь на принципы, заложенные в «Категориях», я обратился к рассмотрению таких сугубо средневековых феноменов, как отношение верующего к чуду и святости, восприятие смерти и потустороннего мира, коммуникации между обоими мирами – земным и загробным, средневековый гротеск, в котором неразрывно переплетены смеховое начало (см. М.М. Бахтин) с началом трагичным и эсхатологическим.

«Проблемы средневековой народной культуры», которые я бы рекомендовал читать вместе с «Категориями средневековой культуры», были задуманы как погружение в такие толщи мировосприятия, какими по большей части пренебрегала официальная церковь. Ими, как правило, пренебрегали и медиевисты XIX и большей части XX столетия. И вот с какой неожиданностью мне довелось здесь встретиться.

Среди многообразных источников я набрел на проповеди немецкого францисканца Бертольда Регенбургского (Berthold von Regensburg). Это обширное собрание речей монаха XIII в. предельно насыщено самой разнообразной информацией как о религиозности самого Бертольда, так и о верованиях, нравах и быте тех, к кому он обращался со своими поучениями, а обращался он ко всем и каждому. Проповеди Бертольда многократно изучались, и тем не менее текст, который вызвал у меня особый интерес, оставался по большей части вне поля зрения исследователей. Эта проповедь «О пяти талантах (или о пяти фунтах)» опирается на евангельскую притчу. Но схожа проповедь Бертольда с евангельским поучением скорее лишь по форме, но не по существу, ибо последнее выражает именно его, Бертольда, миропонимание. Мне уже не раз приходилось возвращаться к анализу содержания этой проповеди, ибо, я убежден, она приближает медиевиста к наиболее существенному аспекту средневекового мирозерцания.

Если вдуматься, Бертольд, один из немногих в средневековой словесности, задается вопросом: что такое человек, точнее, что представляет собой человеческая личность? По его словам, Господь наделил каждого пятью талантами, и в последний день своей жизни каждый верующий должен будет дать отчет Творцу о том, как он этими талантами распорядился. Первый талант – это собственная персона индивида. Оставим пока термин *persona* без расшифровки. Не забудем, однако, что «персона» возглавляет этот смысловой ряд,

являясь своего рода «камнем свода», главой и основанием всех других даров Господа.

Второй дар, врученный человеку, это его «должность», «служение»: индивид несет ответственность за добросовестное выполнение своих социальных обязанностей. Третий дар – «это твоё богатство, собственность». Предполагается, что индивид, получив это имущество от Создателя в управление, обязан сохранить и приумножить его, прежде чем возратить Ему в последний момент земной жизни. Следующий дар – это «наше время». Время даровано человеку для выявления его достоинств и спасения собственной души. Наконец, последний из даров – это любовь к ближнему. Люди живут в обществе, и от них требуется забота об окружающих.

Я выделил лишь «скелет» этой обширной речи, в которой каждый из «даров» пристально и всесторонне изучается. Особенно существенно подчеркнуть, что перед нами не какой-то случайный набор аспектов жизни человеческой, но нечто цельное – Страшный суд. Бертольд Регенбургский в меру собственного понимания и в категориях классического Средневековья дает нам не что иное, как определение человеческой личности, стоящей в свой последний час пред лицом высшего Судии. Почему я захотел привлечь внимание читателей к этому во многом уникальному тексту?

Меня не оставила равнодушным смысловая близость реестра Божьих даров в поучении Бертольда и отбора категорий средневековой культуры, который был произведен задолго до того, как я ознакомился с проповедями францисканца XIII в. У него – личность, социальный статус, собственность, время и отношение человека к человеку. В «Категориях средневековой культуры» мы находим тот же самый набор общих понятий. При известном напряжении фантазии можно представить себе, что автор «Категорий» ухитрился передать монаху Бертольду на экспертизу набор тем, которые он намеревался исследовать. Категории средневековой культуры, выбранные мною для анализа, универсальны, но каждая эпоха, каждая культура насыщает эти универсалии собственным, ей одной присущим содержанием. Исследователь анализирует эти понятия со своей позиции, в конечном итоге присущим ему, историку, виденьем мира. Не потому ли моя книга была переведена на два десятка языков и привлекла внимание самых различных слоев читателей? Вероятно, мне удалось установить своего рода «канал связи» между моими современниками и людьми, жившими много столетий назад. Мне кажется, что я лучше это понял не тогда, когда создавал книгу, а впоследствии. Апробацию изложенных в ней мыслей я нашел в многочисленных рецензиях и, более того, в том, что во многих университетах мира она служит уже который год пособием студентам и аспирантам. Мне стало

ясно, что суть дела – не в более пристальном или убедительном разъяснении тех или иных конкретных аспектов средневекового мировосприятия. Суть эта заключается в том, что, руководствуясь методами исторической антропологии, не мною выдуманнными, я вовлек читателя в диалог между средневековой и современной культурами.

Мало этого, я не считаю вполне случайным, что эту книгу написал историк, работавший в России, притом работавший в чрезвычайно стесненных идеологических и политических условиях. Один пример. В моей книге немалое внимание уделено восприятию права и его функционированию. Когда я писал этот раздел, я не мог отрешиться от сознания о пренебрежении правом в окружающих меня обществе и государстве. Если бы речь шла об одном только попрании права властями. Болезнь куда глубже: мои сограждане в массе воспитаны в рамках жизненной философии, пренебрегающей правом. Тем более важной представлялась мне задача осознать роль права в средневековом обществе. Этот вопрос во весь рост встал передо мной уже при написании книги «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе» и, естественно, весьма занимал меня в моих дельнейших штудиях. Надеюсь, даже самый придирчивый читатель не найдет в моих книгах аллюзий на современность. Но, может быть, историку, изучающему западный средневековый мир, оставаясь в стороне от него, как бы извне, некоторые характерные для этого мира черты рисуются с большей отчетливостью.

Еще один пример. Во многих своих работах я все вновь возвращаюсь к проблеме, с моей точки зрения, наиважнейшей и центральной. Это проблема человеческой личности в Средние века. По моему убеждению, она столь существенна, что я чувствую потребность вновь на ней хотя бы вкратце остановиться. Был ли этот человек не более чем головой в стаде, своего рода «статистической единицей», должен ли историк удовлетворяться констатацией того, что перед ним монах, рыцарь, бюргер, крестьянин..., либо он не должен забывать, что перед ним – человек с собственной индивидуальностью, способный на поступок, притом такой, в котором выявляются его неповторимость и достоинство? На сей счет в разное время я высказывал не во всем идентичные суждения. Не развивая здесь своей точки зрения, отмечу все же, что склоняюсь к позитивному ответу на поставленный вопрос. Средневековый индивид – личность, но эта личность столь же своеобразная и непохожая на личность человека позднейшей эпохи, как несходны те социально-культурные системы, к которым они принадлежали.

Но почему автор этих строк с такой настойчивостью упирается все в ту же проблему? Боюсь, что дело не только в Средневековье. Но протяжении почти всей моей сознательной жизни, как и жизни

предшествующих поколений, на моей благословенной родине вытптывалась человеческая индивидуальность, и самое слово «индивидуализм» расценивалось как политическое обвинение. Увы, приходится признать, что подобная установка – продукт не только Нового времени; тут нащупываются чрезвычайно глубокие корни. Могу ли я утверждать, что мой интерес к проблеме средневековой личности был порожден одними только изысканиями в текстах той эпохи? Я живу в обществе, из которого получаю самые разнообразные сигналы и импульсы, и укрыться от него в башню из слоновой кости для чисто медиевистических занятий невозможно. Не будет ли мне позволено питать иллюзию, что хотя бы немногие из читателей лишней раз зададутся вопросом: «Кто я?», «Каковы качества индивида, делающие его принадлежностью именно своего времени и своей культуры?».

Я уже упоминал, что «Категории средневековой культуры» в целом были встречены критикой и читателями благожелательно. Но, может быть, как раз в этой связи было бы уместно вспомнить об эпизоде, разыгравшемся вокруг перевода книги на немецкий язык в Германской Демократической Республике. Научный редактор перевода профессор Хуберт Мор (H. Mohr), не удовлетвовавшись совершенствованием текста (за что я ему глубоко благодарен), внес в ряд глав свои собственные дополнения. Они представляли собой обширные цитаты из переведенных на немецкий язык советских учебников исторического материализма и политической экономии. Читатель легко может представить себе состояние, в какое повергли меня такого рода «улучшения»! Между нами завязалась длительная и не лишённая эмоциональности переписка, в коей мы оба отстаивали свои позиции. В ответ на мои возражения против инкорпорации в текст книги идеологических клише профессор Мор напоминал мне, что Германская Демократическая Республика, находится на границе двух враждующих политических систем, и эта конфронтация должна найти свое отражение и в моей книге. Потребовалось немало нервов и времени для того, чтобы издательство «Verlag der Kunst» избавило меня от дополнений, которые пытался навязать мне немецкий коллега.

Что касается моей родины, то представители официальной медиевистики пытались по возможности преуменьшить воздействие «Категорий средневековой культуры». Наиболее болезненный ущерб был причинен мне тем, что на протяжении всей своей научной жизни я никогда не был приглашен руководством исторического факультета Московского университета читать лекции студентам. Между тем живое общение со студентами-медиевистами более всего привлекало меня. На протяжении десятилетий я был лишен воз-

возможности руководить аспирантами. Все это, разумеется, не лишило меня читателей и даже в какой-то мере последователей. Но мне воспрепятствовали создать нормальную академическую научную школу. Когда наконец на рубеже 80-х и 90-х годов «железный занавес» пал и я впервые получил возможность посещать научные центры в самых разных странах и выступать в них с лекциями, то в этом перечне так и не появился исторический факультет Московского университета. При этом не стоит упускать из виду, что мои поездки в другие страны и более или менее интенсивное общение с ведущими медиевистами мира сделалось возможным лишь тогда, когда мне исполнилось 65 лет. Было слишком поздно начинать исследовательскую работу в зарубежных архивах. Но грех жаловаться. Публикация переводов «Категорий средневековой культуры» открыла путь и для других моих книг и статей.

Длительный разрыв между историками Восточной и Западной Европы неизбежно порождал у наших зарубежных коллег одностороннее и упрощенное представление о трудах советских медиевистов. Преобладало мнение о полном отсутствии у нас свободной мысли. В рецензии на английский перевод «Категорий» оксфордский профессор Александр Мэррей писал, что за последние десятилетия русские дважды удивили его: первый раз это был полет Юрия Гагарина в космос, второй – появление книги Гуревича...

Как уже было упомянуто, откликов на мою книгу в самых разных странах было очень много, но здесь я нахожу возможность вкратце остановиться лишь на одном из них. Великий Дюби был столь благожелателен, что написал предисловие к французскому переводу. Воздав должное моей книге, он вместе с тем упрекнул меня в том, что в ней не нашло должного отражения все богатство и многообразие средневековой культуры, разные стадии ее истории, равно как и региональные варианты. Это бесспорно. Но я считаю необходимым отметить, что «Категории средневековой культуры» – не книга, последовательно повествующая о том, как происходило развитие на Западе или на Юге Европы на протяжении веков. В этой книге я пытался эксплицировать идеальный тип (*Idealtypus*), т.е. комплекс наиболее существенных явлений, которые мы именуем «средневековой культурой», и тем самым предложить определенный метод их исследования. Если б я пошел по линии конкретизации тех черт изучаемого феномена, которые воплотились в разные периоды Средневековья и в разных странах Запада, то, могу это гарантировать, моя книга, как она была задумана, вообще не состоялась бы.

Без ложной скромности я осмелюсь утверждать, что с появлением «Категорий» глухой забор, разделявший западную и русскую

историографию, был если не разрушен, то расшатан. У меня не вызывает ни малейшего сомнения то, что кое-какие наблюдения и выводы, содержащиеся в этой книге, не могли не устареть за протекшие три десятилетия. Так и должно быть, я и сам по мере сил пытался далее продвигаться по намеченному пути. Возможно, это иллюзия, но, сдаётся мне, в «Категориях средневековой культуры» затронуты не только специальные вопросы нашей профессии, но и кое-какие существенные проблемы жизни человека конца XX столетия. Вновь подчеркну: вопрошая далекое прошлое, мы вольно или невольно вступаем в диалог с людьми этого прошлого, и разве диалог этот не оказывается немалозначительным для самосознания современного человека?

*Ноябрь 2005*